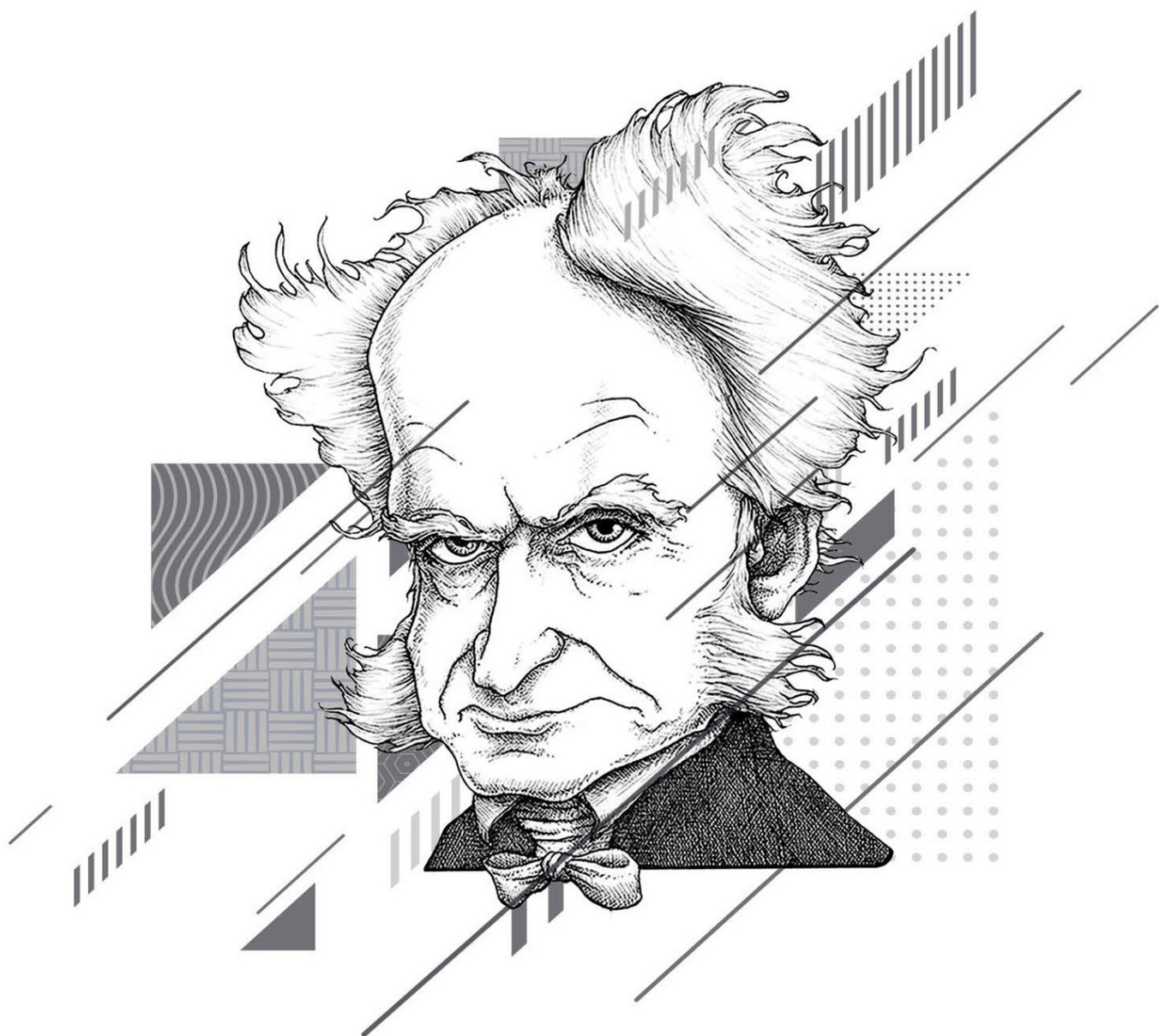


КЛАССИКА ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ



АРТУР
ШОПЕНГАУЭР

ГОЛОД, СТРАХ СМЕРТИ
И ПОЛОВОЙ ИНСТИНКТ

Классика философской мысли

Артур Шопенгауэр

**Голод, страх смерти и
половой инстинкт. «Мир есть
госпиталь для умалишенных»**

«Алисторус»

УДК 13
ББК 87

Шопенгауэр А.

Голод, страх смерти и половой инстинкт. «Мир есть госпиталь для умалишенных» / А. Шопенгауэр — «Алисторус», — (Классика философской мысли)

ISBN 978-5-907149-70-0

Артур Шопенгауэр (1788–1860) – самый известный мыслитель в духе иррационализма и мизантропии. Он называл существующий мир «наихудшим из возможных миров», за что получил прозвище «философа пессимизма». Взгляды Шопенгауэра на человеческую мотивацию и желания, на природу человека оказали влияние на многих известных мыслителей, включая Ницше и Фрейда, а его идеи так или иначе использовали в своих произведениях Лев Толстой, Кафка и Борхес. В данной книге представлены наиболее значительные произведения Шопенгауэра, характерные для «философии пессимизма», – горькая правда о человеке и мире людей, ведь, по мнению автора, ими движет преимущественно голод, страх смерти и половой инстинкт.

УДК 13
ББК 87

ISBN 978-5-907149-70-0

© Шопенгауэр А.
© Алисторус

Содержание

Часть 1	5
Природа человека	5
Что человек имеет	18
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Артур Шопенгауэр

Голод, страх смерти и половой инстинкт.

«Мир есть госпиталь для умалишенных»

Часть 1

Что человек имеет

Природа человека

(Из книги «Афоризмы житейской мудрости»)

Мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его себе представляем, – он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики: для одних он оказывается бедным, пустым и пошлым, для других – богатым, полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их: ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской дюжинной головы принимает вид самого пустого случая из повседневной жизни.

Чрезвычайно заметно это на некоторых произведениях Гёте и Байрона, повод к которым дан, очевидно, действительными происшествиями: неумный читатель будет, пожалуй, завидовать изображенному поэтом прелестнейшему этюду, вместо того чтобы направить свою зависть на мощную фантазию, которая из довольно обыденного случая способна сделать нечто великое и прекрасное. Равным образом меланхолик видит трагедию там, где сангвиник усматривает лишь интересный конфликт, а флегматик – нечто малозначительное. Все это имеет свой корень в том, что всякая действительность, то есть всякое заполненное настоящее, состоит из двух половин, субъекта и объекта, хотя они и находятся между собой в столь же необходимой и тесной связи, как кислород и водород в воде. Поэтому при вполне одинаковых объективных данных, но различных субъективных, а также в обратном случае наличная действительность принимает совершенно иной вид: прекраснейшая и наилучшая объективная сторона при тупой, плохой субъективной все-таки даст лишь плохое действительное и настоящее, точь-в-точь как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры-обскуры.

На сцене один актер играет князя, другой советника, третий слугу, солдата, генерала и т. д. Но различия эти имеют чисто внешний характер; во внутренней же сущности такого явления у всех скрывается одна и та же сердцевина: бедный актер с его заботой и нуждой. То же самое в жизни. Различия ранга и богатства каждому отводят свою роль, но ей вовсе не соответствует внутренняя разница в счастье и довольстве: и здесь в каждом скрывается тот же бедняк с его нуждой и заботой.

Правда, по своему содержанию эти последние у каждого свои, но по форме, то есть по своей истинной сущности, они у всех почти одинаковы, хотя они и различаются в степени, но различие это вовсе не определяется положением и богатством человека, то есть его ролью. Именно: так как все, что для человека существует и случается, непосредственно существует все-таки лишь в его сознании и случается для этого последнего, то наиболее существенное значение имеет природа самого сознания, и в большинстве случаев она играет большую роль,

чем те образы, которые в нем возникают. Вся роскошь и наслаждения, отражающиеся в тупом сознании глупца, очень бедны в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он писал «Дон Кихота» в своей печальной тюрьме.

Объективная часть наличной действительности находится в руках судьбы и потому изменчива; субъективная же – это мы сами, и потому в своих существенных чертах она неизменна. Соответственно тому жизнь каждого человека, несмотря на все внешние перемены, носит сплошь один и тот же характер и может быть уподоблена ряду вариаций на одну тему. Никто не может выйти из своей индивидуальности. И подобно тому как животное при всех условиях, в какие его ставят, всегда ограничено тем узким кругом, который неуклонно предначертала его существу природа, так что, например, наши стремления сделать счастливым любимое животное постоянно должны держаться тесных пределов, именно в силу этой ограниченности его существа и сознания, – так и с человеком: его индивидуальностью заранее определена мера возможного для него счастья.

В особенности границы его духовных сил раз навсегда устанавливают его способность к возвышенным наслаждениям. Если они узки, то напрасны будут все усилия извне, бесполезно будет все, что могут сделать для него люди и счастье: он не в состоянии будет переступить меру обычного, полуживотного человеческого счастья и довольства; уделом его останутся чувственные наслаждения, благодушная и безмятежная семейная жизнь, низкое общество и вульгарное времяпровождение.

Даже образование не может сделать очень многого для расширения его кругозора, хотя некоторых результатов оно и достигает. Ибо высшие, разнообразнейшие и наиболее прочные наслаждения – это духовные, как бы мы ни обманывались на этот счет в молодости; а эти удовольствия зависят главным образом от духовных сил.



Портрет Шопенгауэра кисти Л. Руля, 1815 год.

Отсюда ясно вытекает, насколько наше счастье обусловлено тем, что мы есть, нашей индивидуальностью; между тем по большей части люди обращают внимание лишь на судьбу, на то, что мы имеем или чем представляемся. Но судьба может меняться к лучшему; к тому же при внутреннем богатстве человек не требует от нее многого. Напротив, глупец остается глупцом, тупой чурбан – тупым чурбаном остается до конца дней своих, хотя бы он очутился в раю и был окружен гуриями. Поэтому Гёте и говорил:

Раб, народ и угнетатель
Вечны в беге наших дней, —

Счастлив мира обитатель
Только личностью своей.

Что для нашего счастья и нашего наслаждения субъективное несравненно важнее объективного, это находит себе подтверждение во всем, начиная от таких фактов, что голод есть лучший повар и что старик равнодушно взирает на богиню юноши, и кончая жизнью гения и святого. В особенности здоровье стоит настолько выше всех внешних благ, что поистине здоровый нищий счастливее больного царя. Обусловленный полным здоровьем и счастливой организацией спокойный и веселый нрав, ясный, живой, пронизательный и верно схватывающий ум, умеренная, кроткая воля, дающая чистую совесть, – вот преимущества, которых не может заменить никакой ранг, никакое богатство. Ибо то, что есть индивид сам по себе, что остается наедине с ним и чего никто не может ему дать или у него отнять, имеет, очевидно, для него более существенное значение, нежели все, чем бы он ни обладал и чем бы он ни был в глазах других. Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от смертельной скуки даже постоянная смена компании, зрелищ, прогулок и увеселений. Добрый, умеренный, миролюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как алчного, завистливого и злого не удовлетворит никакое богатство. И для того, кто постоянно наслаждается своей необычной, выдающейся в духовном отношении индивидуальностью, большинство наслаждений, к каким все стремятся, совершенно излишни, даже прямо нежелательны и тягостны.

* * *

Таким образом, для счастья нашей жизни первое и самое существенное условие – то, что мы есть, наша личность; и это уже потому, что она действует всегда и при всех обстоятельствах. Но, сверх того, она не подчинена, как блага двух других отделов, судьбе и не может быть у нас отнята.

На этом основании ее ценность можно назвать абсолютной, в противоположность чисто относительной ценности остальных двух категорий. А отсюда следует, что человек гораздо менее подлежит воздействию извне, чем обычно думают. Только всемогущее время и здесь проявляет свою власть: ему подчиняются мало-помалу телесные и духовные преимущества; один лишь моральный характер недоступен даже и для времени. В этом отношении, пожалуй, блага двух последних рубрик имеют преимущества перед благами первой, так как время непосредственно их не отнимает.

Другое их преимущество можно видеть в том, что они, как лежащие в сфере объективного, по своей природе доступны приобретению и у каждого есть по крайней мере возможность овладеть ими; субъективное же, напротив, совершенно не в нашей власти: оно пребывает неизменным во всю жизнь, так что здесь во всей силе приложимы слова:

Со дня, как звезд могучих сочетанье
Закон дало младенцу в колыбели,
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть – тщетное старанье;
Об этом нам еще сивиллы пели.
Всему наперекор вовек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен.

(Gème)

Единственное, что мы можем сделать в этом направлении, – это извлечь из данной нам личности возможно большую выгоду, иными словами – устремляться лишь за отвечающими ей целями и заботиться о такого рода развитии, которое как раз к ней подходит, избегая всякого другого, избирая, следовательно, сообразное с ней положение, занятие и образ жизни.

Положим, человек, одаренный необычайной, геркулесовской мышечной силой, вынужден внешними условиями посвящать себя усидчивому занятию, кропотливой, мелочной ручной работе или даже наукам и умственному труду, который требует совсем других, второстепенных для него способностей, так что как раз те способности, какими он особенно наделен, остаются у него без употребления: такой человек всю жизнь будет чувствовать себя несчастным; еще же несчастнее будет тот, в ком решительное преобладание имеют интеллектуальные силы и кто в то же время должен оставлять их без развития и употребления, для того чтобы заниматься обыденными делами, где они не нужны, или даже физическим трудом, для которого он недостаточно крепок. Здесь надо, впрочем, особенно в юности, избегать опасности предубеждения, чтобы не приписать себе чрезмерной силы, какой не имеешь на самом деле.

Из решительного перевеса нашей первой рубрики над двумя остальными следует также, что разумнее стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих способностей, нежели к приобретению богатства; отсюда не надо, однако, делать ложного вывода, будто мы не должны заботиться о приобретении необходимых и приличных средств. Но собственно богатство, то есть большой избыток, мало способствует нашему счастью, и потому многие богатые чувствуют себя несчастными: у них нет духовного развития, нет знаний и, следовательно, нет никаких объективных интересов, которые могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что богатство может дать помимо удовлетворения реальных и естественных потребностей, мало имеет значения для нашего действительного благополучия – напротив, ему вредят те многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого имущества.

Тем не менее люди в тысячу раз более хлопочут о богатстве, чем об умственном развитии, хотя вполне очевидно, что то, чем является индивид, гораздо важнее для нашего счастья, нежели то, что он имеет. И мы видим очень много людей, неустанно работающих, трудолюбивых, как муравьи, с утра до вечера занятых приумножением своего уже существующего богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора нужных для этой цели средств; ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны высшие, духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заместить теми мимолетными, чувственными, мало времени, но много денег требующими удовольствиями, какие они себе иногда позволяют.

Под конец, в результате своей жизни, если счастье им улыбалось, они действительно имеют перед собой очень большую кучу денег, которую и оставляют своим наследникам для дальнейшего приумножения или же расточения. Оттого подобный жизненный путь, хотя бы он и был пройден с весьма серьезной и важной миной, столь же глуп, как и тот, что прямо имел своим символом дурацкий колпак.

* * *

Самый общий взгляд на жизнь укажет нам на двух врагов человеческого счастья – боль и скуку. К этому можно еще прибавить, что, насколько нам удастся избавиться от одного из них, настолько же мы приближаемся к другому, и наоборот, так что жизнь наша действительно представляет собою более сильное или более слабое колебание между ними. Причина этому та, что оба они стоят друг к другу в двойном антагонизме – внешнем, или объективном, и внутреннем, или субъективном. Именно – во внешних отношениях нужда и лишения ведут к страданию, обеспеченность же и изобилие – к скуке. Соответственно этому простой народ

постоянно борется против нужды, то есть страдания, а богатые и знатные заняты непрерывной, часто поистине отчаянной борьбой со скукой.

Что касается внутреннего, или субъективного, антагонизма между болью и скукой, то он кроется в том, что у отдельных людей восприимчивость к одной из них находится в обратном отношении с восприимчивостью к другой, определяясь мерою духовных сил данного человека. Именно – тупость ума во всех случаях соединяется с тупостью ощущений и недостатком раздражимости, что делает человека менее чувствительным к боли и огорчениям всякого рода и степени.

С другой стороны, благодаря этой же самой умственной тупости возникает та, на бесчисленных лицах написанная, а также сказывающаяся в постоянно подвижном внимании ко всем, даже самым незначительным происшествиям внешнего мира внутренняя пустота, которая служит истинным источником скуки и все время жаждет внешних поводов, чтобы чем-нибудь привести в действие ум и чувство. Она не выказывает поэтому брезгливости в выборе таких поводов, как о том свидетельствуют жалкие забавы, за которые хватаются люди, равным образом характер их обхождения и разговоров, а также многочисленные зеваки у дверей и окон.

Главным образом этой внутренней пустотой и объясняется погоня за обществом, за всякого рода развлечениями, удовольствиями и роскошью, которая многих приводит к расточительности, а затем и нищете. От этой нищеты нет более надежного ограждения, нежели внутреннее богатство, богатство духа, ибо чем более возвышается он над посредственностью, тем меньше остается места для скуки. Неисчерпаемая бодрость мысли, ее непрерывная игра с разнообразными явлениями внутреннего и внешнего мира, способность и влечение ко все новым их комбинациям совершенно освобождают выдающегося человека от власти скуки, если исключить момент утомления.

Но с другой стороны, более мощный интеллект прямо обуславливается повышенной восприимчивостью и имеет свой корень в большей энергии воли, то есть страстей: его сочетание с этими свойствами сообщает гораздо большую интенсивность всем аффектам и повышенную чувствительность к душевным и даже к телесным страданиям, даже большее нетерпение при всех препятствиях или хотя бы только задержках; все это в огромной степени повышает обусловленную силой фантазии живость всех вообще представлений, в том числе и неприятных. И сказанное справедливо в соответственной мере относительно всех промежуточных степеней, заполняющих широкое расстояние от совершеннейшего тупицы до величайшего гения.

Благодаря этому всякий как в объективном, так и в субъективном отношении тем ближе стоит к одному источнику человеческих страданий, чем он дальше от другого. Сообразно тому, руководствуясь в этом отношении своей природной склонностью, каждый старается по возможности согласовать объективное с субъективным, то есть оградить себя главным образом от того источника страданий, к которому он больше чувствителен. Человек с богатым внутренним миром прежде всего будет стремиться к отсутствию боли, досады, к покою и досугу, то есть изберет тихое, скромное, но по возможности свободное от тревог существование и потому после некоторого знакомства с так называемыми людьми будет избегать общения с ними, а при большом уме – даже искать одиночества. Ибо чем больше кто имеет в себе самом, тем меньше нуждается он во внешнем и тем меньше также имеют для него значение остальные люди. Таким образом, выдающийся ум ведет к необщительности.

Конечно, если бы качество общества можно было заменить количеством, то стоило бы жить даже в большом свете; но, к сожалению, из ста глупцов, взятых вместе, не выйдет и одного разумного человека.

Представитель другой крайности, коль скоро у него не стоит за плечами нужда, во что бы то ни стало гонится за забавами и обществом и легко довольствуется всем, ничего не избегая так старательно, как самого себя. Ибо в одиночестве, когда каждый должен ограничиваться собственной особой, обнаруживается, что он имеет в себе самом; тогда-то облаченный в пур-

пур простофиля начинает вздыхать под неизбывным бременем своей жалкой индивидуальности, меж тем как человек даровитый самую пустынную обстановку населяет и оживляет своими мыслями. Поэтому, в общем, и оказывается, что человек настолько бывает общительным, насколько он духовно беден и вообще посредствен. Ибо на свете нам предоставлено немногим более, чем выбор между одиночеством и пошлостью.

* * *

Согласно с тем, что мозг является паразитом или пенсионером всего остального организма, добытый человеком досуг, позволяя ему пользоваться своим сознанием и своей индивидуальностью, составляет плод и прибыль всей его жизни, которая в остальном являет собою одни труды и заботы. Но что же дает большинству людей досуг? Его заполняют скука и пустота, когда нет чувственных наслаждений или дурачеств. Что он не имеет никакой цены, на это указывает, как его проводят такие люди. Обыкновенные люди думают только о том, чтобы провести время; у кого есть какой-нибудь талант, те хотят использовать это время. Если ограниченные головы так подвержены скуке, то это объясняется тем, что их интеллект служит исключительно только посредником мотивов для их воли. Если же воспринимающей способности нет пищи ни в каких мотивах, то воля остается в покое и интеллект в праздности: и та, и другой в одинаковой мере не способны к самостоятельности.

В результате – страшный застой всех сил во всем организме, скука. И вот для ее предотвращения воле подсовывают ничтожные, временные и по произволу взятые мотивы, должностующие возбуждать ее и через это приводить в деятельность также и интеллект, которому приходится их воспринимать; они относятся поэтому к действительным и естественным мотивам, как бумажные деньги к серебру, – их стоимость определена произвольно. Такими именно мотивами служат игры, карточные и др., изобретенные ради указанной цели. Нет их – ограниченный человек старается помочь себе треском и громом, всем, что попадется ему под руку. И сигара будет для него желанным суррогатом мыслей...

Вообще же жизнь большинства людей проходит в тупой монотонности, так как их помыслы и усилия всецело направлены на мелочные интересы личного благополучия, а потому на всякого рода пустяки, так что ими овладевает невыносимая скука, как только они перестают заниматься этими целями и должны иметь дело с самими собою, – только дикий огонь страсти способен внести некоторое движение в это стоячее болото.

Обыденный человек, чтобы сделать свою жизнь приятной, должен ограничиваться внешними для него вещами – имуществом, рангом, женою и детьми, друзьями, обществом и т. д., и в них полагает он свое счастье, поэтому оно кончается, когда он утрачивает эти блага или видит, что обманулся в них. Для характеристики такого положения можно сказать, что центр тяжести у подобного человека находится вне его. Оттого-то у него и является столько изменчивых желаний и прихотей: если он располагает достаточными средствами, он то покупает имения, лошадей, то задает пиры, то пускается путешествовать, вообще же окружает себя большой роскошью; ведь он во всем ищет себе удовлетворения извне, подобно тому как истощенный человек с помощью бульонов и лекарств надеется вернуть себе здоровье и крепость, истинным источником которых служит собственная жизненная сила.

Я должен еще упомянуть здесь, что выражение филистер, свойственное исключительно немецкому языку, заимствованное из студенческой жизни, но потом получившее высший смысл, хотя все-таки аналогичный первоначальному, как противоположность питомцу муз, – это выражение обозначает именно человека, который, вследствие строгой и отмеренной нормальности своих интеллектуальных сил, лишен всяких духовных потребностей. Правда, с более высокой точки зрения я бы дал филистерам такое определение, что это люди, все время самым серьезным образом занятые реальностью, которой на самом деле нет. Но такое опре-

деление, имеющее уже трансцендентальный характер, не годится для популярной точки зрения, принятой мною в этом трактате, и потому, быть может, не всем моим читателям будет и понятно. Первое же определение легче для понимания и достаточно характеризует сущность дела, корень всех свойств, отличающих филистера.

Итак, это человек без духовных потребностей. А отсюда уже вытекают разного рода выводы. Во-первых, что касается его самого, он остается без духовных наслаждений. Никакое влечение к познанию и уразумению ради них самих не оживляет его существования; нет у него также потребности в собственно эстетических наслаждениях, тесно связанной с этим влечением. Если же случайно мода или авторитет предпишут ему какие-либо наслаждения такого рода, он старается поскорее отбыть их как своего рода принудительную работу. Действительными наслаждениями будут для него исключительно чувственные – ими он себя и вознаграждает. Поэтому вершина его бытия заключается в устрицах и шампанском, а цель его жизни – добывать себе то, что способствует телесному благополучию. Хорошо еще, если цель эта задает ему много работы. Если же эти блага уже заранее ему уготовлены, он неизбежно попадает во власть скуки, против которой пускается тогда в ход все возможное: балы, театры, общество, карты, азарт, лошади, женщины, вино, путешествия и т. д. И тем не менее все это оказывается бессильным против скуки, когда отсутствие духовных потребностей исключает возможность духовных наслаждений.

Вот почему филистеру и свойственна характерная для него тупая, сухая серьезность, подобная серьезности животных. Ничто его не радует, ничто не возбуждает, ничто не привлекает его участия. Ибо чувственные наслаждения скоро исчерпываются; общество, состоящее из подобных же филистеров, скоро вызывает скуку; карты под конец утомляют. Конечно, у него остаются еще удовольствия тщеславия, которые могут состоять в том, что он превосходит других богатством, или рангом, или влиянием и властью, пользуясь от них за это почетом; но он может довольствоваться также и тем, что по крайней мере водит знакомство с людьми, которые обладают подобным превосходством, и таким образом купается в лучах их блеска (a snob).

Из установленного основного свойства филистера следует, во-вторых, по отношению к другим людям, что так как у него нет духовных, а есть одни физические потребности, то он и будет искать тех, кто способен удовлетворить вторым, а не тех, кто удовлетворяет первым. Всего менее поэтому будет он прибегать к помощи людей с преобладанием каких-либо духовных способностей; напротив, такие люди, когда он столкнется с ними, будут возбуждать с его стороны антипатию, даже ненависть: ведь он при этом может ощущать лишь тягостное чувство чужого превосходства, да еще тупую, скрытую зависть, которую он самым тщательным образом прячет, стараясь утаить ее даже от самого себя, – но как раз благодаря этому она иногда вырастает в холодную злобу.

Никогда поэтому не придет ему в голову руководствоваться в своей оценке или уважении такого рода интеллектуальными достоинствами: его критерием в этом отношении останутся исключительно ранг и богатство, власть и влияние – это в его глазах единственные истинные преимущества, которыми хотел бы отличаться и он. Но все это происходит оттого, что такой человек лишен духовных потребностей.

Великое горе всех филистеров заключается в том, что их совсем не занимают идеальности, а для избежания скуки им постоянно нужны реальности. А последние отчасти скоро иссякают и тогда вместо удовольствия причиняют утомление, отчасти же приводят ко всякого рода бедам...

* * *

Отдельно следует сказать о глупости человеческой природы. Она проявляется главным образом в трех формах: в виде честолюбия, тщеславия и гордости. Разница между двумя

последними состоит в том, что гордость – это уже закрепившееся сознание обостренного превосходства в каком-либо отношении; тщеславие же – это желание привить подобное убеждение другим, сопровождающееся большей частью скрытой надеждой, что оно таким путем может обраться и в наше собственное.

Таким образом, гордость есть изнутри идущее, стало быть, непосредственное признание своей собственной высокой ценности; тщеславие же – стремление получить это признание извне, то есть косвенно. Соответственно тому тщеславие делает словоохотливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный должен был бы знать, что высокое мнение других, которого он так жаждет, гораздо легче и вернее достигается упорным молчанием, нежели разговором, хотя бы мы и могли поведать прекраснейшие вещи. Горд не тот, кто хочет казаться гордым: последний может, пожалуй, достигнуть своей цели, но он скоро сойдет с этой роли, как это бывает со всякой принятой на себя ролью. Ибо лишь прочное, внутреннее, непоколебимое убеждение в своих превосходных качествах и своей особенной ценности делает человека действительно гордым. Пусть убеждение это будет ошибочным, пусть оно основано на чисто внешних и условных преимуществах, – это не вредит гордости, если только она существует действительно и серьезно.

Поскольку, следовательно, гордость имеет свой корень в убеждении, то, как и всякое познание, она не зависит от нашего произвола. Ее злейшим врагом, я хочу сказать – величайшей для нее помехой служит тщеславие, которому сначала нужно добиться одобрения других, чтобы основать на нем собственное высокое мнение о себе, между тем как гордость предполагает, что такое мнение уже вполне прочно в нас утвердилось.

Хотя гордость всюду вызывает против себя порицание и осуждение, я полагаю тем не менее, что последние исходят преимущественно от тех, у кого нет ничего, чем они могли бы гордиться. При бесстыдстве и наглости большинства людей человек, обладающий какими-либо достоинствами, поступает вполне правильно, сохраняя их у себя на виду, чтобы не дать им уйти в полное забвение, ибо тот, кто, благодушно их игнорируя, так ведет себя с людьми, как если бы он был вполне им подобен, к тому они сейчас же искренне так и станут относиться. Всего же более рекомендовал бы я такое гордое поведение лицам, располагающим преимуществами чисто личными, о которых нельзя, как об орденах и титулах, ежеминутно напоминать чувственными впечатлениями. «Пошутить с рабом, и он скоро покажет тебе зад», – говорит прекрасная арабская пословица. Добродетель же скромности – поистине выгодное изобретение для обделенных природой: следуя ей, всякий должен говорить о себе, как если бы и он был оборванцем, а это прекрасно нивелирует, так как дело принимает такой вид, будто вообще существуют одни только оборванцы.

С другой стороны, самый дешевый вид гордости – гордость национальная. Ибо кто ею одержим, обнаруживает этим отсутствие в себе каких-либо индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, так как иначе ему незачем было бы хвататься за то, что у него общее с миллионами. У кого есть выдающиеся личные достоинства, тот, напротив, всего яснее видит недостатки собственной нации, так как они постоянно у него на глазах. А всякий жалкий бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы гордиться, хватается за последнее средство – гордиться той нацией, к какой именно он принадлежит: это дает ему опору, и вот он с благодарностью готов защищать все присущие этой нации недостатки и глупости.

Впрочем, индивидуальность стоит далеко выше национальности, и по отношению к каждому данному человеку первая заслуживает в тысячу раз более внимания, чем вторая. Вообще, за национальным характером, так как в нем отражается толпа, никогда нельзя по совести признать много хорошего. Скорее дело здесь только в том, что человеческая ограниченность, извращенность и порочность в каждой стране принимают иную форму, которую и называют национальным характером. Наскучивши одним из них, мы начинаем хвалить другой, пока и его не постигнет та же участь. Всякая нация смеется над другой, и все они правы.

* * *

...Поистине величайшая ошибка – желание превратить мир, эту арену скорби, в увеселительное место и ставить своей целью не возможно большую свободу от страданий, а наслаждения и радости, как это, однако, столь многие делают. Гораздо менее заблуждаются те, кто смотрит на мир мрачным взором, видя в нем своего рода ад, и потому заботится лишь о том, чтобы устроить себе в нем огнеупорное помещение. Глупец гонится за наслаждениями жизни и приходит к разочарованию; мудрый старается избежать бед. В случае же если ему и это не удастся, он должен винить судьбу, а не собственную глупость. Насколько же ему это посчастливится, он не может считать себя обманувшимся, ибо беды, от которых он уклонился, в высшей степени реальны. Даже если бы ему при случае пришлось слишком далеко зайти в этом направлении и без нужды жертвовать своими наслаждениями, то и в этом, собственно, нет никакого ущерба, ибо все наслаждения призрачны, и жалеть о том, что они были упущены, было бы недостойно, даже прямо смешно.

Пренебрежение к этой истине, поддерживаемое оптимизмом, служит источником многих несчастий. Именно – когда мы свободны от страданий, беспокойные желания рисуют перед нами химерическое счастье, которого совсем не существует, и склоняют нас к погоне за ним; этим мы навлекаем на себя страдание, реальность которого бесспорна. Тогда мы начинаем печалиться о потерянном спокойном состоянии, которое, подобно легкомысленно утраченному раю, осталось позади нас, и тщетно желаем, чтобы не было того, что произошло. Нам кажется, точно какой-то злой демон, привлекая нас фантазмами желаний, постоянно старался вывести нас из беспечального состояния, этого высшего реального счастья.

Неосмотрительно думает юноша, будто мир существует для наслаждений, будто мир – обитель положительного счастья, которое не дается лишь тем, у кого недостает ловкости овладеть им. В этом утверждают его романы и стихи, а также то лицемерие, которое везде и всюду царствует на свете под обманчивой внешностью и к которому я скоро возвращусь. Поэтому его жизнь становится более или менее обдуманной погоней за положительным счастьем, которое как таковое должно состоять из положительных наслаждений. Опасности, которые его при этом подстерегают, считаются неизбежным риском. И вот эта погоня за несуществующей добычей обычно приводит к очень реальному положительному несчастью. Оно является в виде скорбей, страданий, болезней, утрат, забот, бедности, позора и тысячи нужд. Разочарование приходит слишком поздно.

Если, напротив, план жизни, следуя рассматриваемому здесь правилу, рассчитан на уклонение от страданий, то есть на устранение бедствий, болезней и всяких нужд, то цель будет положительной: тогда можно кое-чего добиться, притом тем большего, чем меньше план этот расстраивается стремлением к призраку положительного счастья. С этим согласуются и те слова, которые Гёте в «Избирательном сродстве» влагает в уста Посредника, постоянно хлопочущего о счастье других: «Кто хочет отделаться от какой-нибудь беды, тот всегда знает, чего он хочет; кто желает чего-либо лучшего в сравнении с тем, что у него есть, у того глаза совершенно закрыты».

К этому же надо свести даже основную мысль кинизма, ибо что же побуждало киников отвергать все наслаждения, как не мысль о связанных с этими наслаждениями, близких либо отдаленных, страданиях, устранение которых представлялось им гораздо более важным, нежели достижение самих наслаждений? Они были глубоко проникнуты сознанием отрицательности наслаждения и положительности страдания; будучи последовательными, они делали поэтому все для устранения зла, а для этого считали необходимым полное и сознательное пренебрежение к наслаждениям: они видели в последних лишь сети, отдающие нас во власть страдания.

* * *

Все мы, конечно, как выражался Шиллер, рождены в Аркадии, то есть вступаем в жизнь, исполненные притязаний на счастье и наслаждение, и питаем пустую надежду осуществить их на деле. Обыкновенно в скором времени является судьба, грубо налагает на нас свою руку и доказывает нам, что здесь нет ничего нашего, а все принадлежит ей, так как она имеет неоспоримое право не только на все наши владения и доходы, на нашу жену и детей, но даже на наши руки и ноги, глаза и уши, не исключая также и носа посреди нашей физиономии. Во всяком же случае рано или поздно приходит опыт, принося с собой уразумение, что счастье и наслаждение – мираж, который, будучи видим лишь издали, исчезает при приближении к нему; что, напротив, страдание и боль реальны, дают о себе знать непосредственно сами и не нуждаются ни в какой иллюзии, ни в каком ожидании. И если наука эта идет впрок, мы перестаем гоняться за счастьем и наслаждением и, наоборот, начинаем думать о том, как бы по возможности оградить себя от боли и страданий.

Мы узнаем тогда, что лучшее, чего можно ждать от жизни, – это беспечальное, спокойное, сносное существование; им мы и ограничиваем наши притязания, чтобы тем вернее достигнуть его. Ибо надежнейшее средство, чтобы не быть очень несчастным, – это не требовать для себя большого счастья. Это понял и Мерк, друг юности Гёте, писавший: «Скверная претензия на блаженство, притом в той мере, как его рисуют наши мечты, губит все на этом свете. Кто в силах от него освободиться и ничего не вожделеет, кроме того, что у него в руках, тот может проложить себе дорогу». Поэтому рекомендуется умерять свои притязания на наслаждение, обладание, ранг, честь и т. д. – до самых скромных пределов, ибо именно стремление и погоня за счастьем, блеском и наслаждением и сопряжены с большими несчастьями. Но совет этот уже и потому полезен и мудр, что быть очень несчастным крайне легко; обладать же большим счастьем не только что трудно, но и совершенно невозможно. Кто же вполне усвоил учение моей философии и потому знает, что все наше бытие нечто такое, чего лучше бы совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в самоотрицании и самоотказе, тот не соединит больших надежд ни с какой вещью и ни с каким состоянием, ничего на свете не будет страстно добиваться и не станет много жаловаться на свои неудачи в чем бы то ни было.

Особенно затруднительным становится, однако, приобретение этих спасительных убеждений в силу упомянутого уже лицемерия света, которое поэтому надлежало бы пораньше разоблачать перед юношеством. В большинстве случаев помпа – простая личина наподобие театральной декорации, не содержащая в себе сущности дела. Например, украшенные флагами и венками суда, пушечные салюты, иллюминация, литавры и трубы, ликования и крики и т. д., все это – вывеска, символ, иероглиф радости, но самой радости мы большей частью здесь не встретим, она одна только не участвует в празднестве. Где же она действительно есть, там она обычно появляется без приглашения и предуведомления, сама собою и даже прокрадывается втихомолку, часто по самым ничтожным, самым пустым поводам, среди самой обыденной обстановки, всего менее напоминающей о блестящих либо славных событиях: она, как золото в Австралии, рассеяна здесь и там, по прихоти случая, без всякого правила и закона, большей частью лишь самыми маленькими крупинками, крайне редко – в больших массах.

При всех же упомянутых внешних проявлениях и сама цель заключается просто в том, чтобы уверить других, будто здесь воцарилась радость: такое представление в голове других – вот все, к чему стремятся.

Не иначе, чем с радостью, обстоит дело и с печалью. Как уныло тянется эта длинная и медленная погребальная процессия! – нет конца ряду карет. Но загляните-ка в них: они все пусты, и покойника провожает до могилы, собственно, лишь собрание кучеров со всего города. Яркий образ дружбы и уважения на белом свете! И тут, стало быть, мы видим в человеческом

поведении фальшь, притворство и лицемерие. Еще пример – многочисленное собрание приглашенных гостей в праздничных одеждах на торжественном приеме; они служат вывеской благородной, возвышенной общительности. Но вместо нее обыкновенно являются принуждение, стеснение и скука; ибо где много гостей, там уж, наверное, много всякого сброда – хотя бы у них на груди красовались все звезды. Ведь действительно хорошее общество всюду и необходимо бывает очень небольшим.

Вообще же блестящие, шумные пиры и празднества всегда скрывают внутри себя пустоту, а пожалуй, даже и дисгармонию – уже потому, что они резко противоречат скорби и жалости нашего бытия, а контраст еще более оттеняет истину. Зато с внешней стороны все это оказывает свое действие, а в этом и состояла цель.

Равным образом академии и философские кафедры тоже служат вывеской, внешней личиной мудрости, но и она здесь большей частью отсутствует, скрываясь где-нибудь в совершенно иных местах. Колокольный звон, священнические облачения, благочестивые жесты и карикатурные обряды – это вывеска, личина набожности и т. д.

Итак, почти все на свете надо назвать пустыми орехами: ядро само по себе редко, а еще реже можно найти его в этой скорлупе. За ним надо обращаться совсем не сюда, и попадаетея оно большей частью случайно. Вообще же с нами в жизни случается то же самое, что с путником, перед которым по мере его движения вперед предметы принимают иной вид, чем какой они имели издавна, – они как бы преобразуются вместе с его приближением.

* * *

Чтобы пройти свой путь в мире, полезно взять с собой большой запас предусмотрительности и снисходительности: первая предохранит нас от убытков и потерь, вторая – от споров и ссор.

Кому приходится жить среди людей, тот не должен безусловно отвергать ни одной индивидуальности, так как она ведь все-таки установлена и дана природой, хотя бы, следовательно, индивидуальность эта была самой плохой, самой жалкой либо самой смешной. Напротив, он должен принимать ее как нечто неизменное, чему в силу вечного и метафизического принципа надлежит быть таким, каково оно есть; в случаях прискорбных надо думать: «Должны существовать и такие чудачки». Относясь к делу иначе, мы поступаем несправедливо и вызываем в другом вражду на живот и на смерть. Ибо никто не может изменить своей собственной индивидуальности, то есть своего морального характера, своих познавательных сил, своего темперамента, своей физиономии и т. д.

Таким образом, если мы совершенно и окончательно осуждаем его существо, то ему остается только бороться с нами как со смертельным врагом: ведь мы согласны признать за ним право на существование под тем только условием, чтобы он стал иным, нежели требует его неизменная природа. Поэтому, стало быть, мы, если желаем жить с людьми, должны каждого принимать и признавать с данной его индивидуальностью, какова бы она ни оказалась, и вправе заботиться лишь о том, чтобы извлечь из нее пользу, какую она может дать по своему характеру и свойствам; но нам не подобает ни надеяться на ее изменение, ни осуждать ее без дальних слов в ее настоящем виде. Таков истинный смысл выражения «жить и давать жить другим».

Задача эта, впрочем, не так легка, как справедлива, и счастливым надо считать того, кто может навсегда избавить себя от некоторых индивидуальностей. Между тем для приобретения способности выносить людей надлежит упражнять свое терпение на неодушевленных предметах, которые упорно противодействуют нашим усилиям, повинувшись механической или какой-нибудь иной физической необходимости; случай для этого представляется ежедневно. Приобретенное таким путем терпение мы научимся потом переносить на людей, привыкая думать, что и их, где они являются для нас помехой, побуждает к этому столь же строгая, в их натуре

коренящаяся необходимость, как и та, с какой действуют вещи неодушевленные: вот почему раздражаться на их поведение столь же глупо, как сердиться на камень, загородивший нам дорогу. Относительно многих самое умное будет думать: «Изменить я его не изменю, постараюсь поэтому его использовать».

Впрочем, большинство людей настолько субъективны, что, в сущности, их ничто не интересует, кроме только их самих. Отсюда и происходит, что, о чем бы вы ни говорили, они тотчас думают о себе, и всякое случайное, хотя бы самое отдаленное отношение к чему-нибудь, касающемуся их личности, привлекает к себе и захватывает все их внимание, так что они становятся уже неспособны понимать объективное содержание речи; равным образом никакие доводы не имеют для них значения, коль скоро доводы эти идут вразрез с их интересами или с их тщеславием. Поэтому они настолько легко оскорбляются, обижаются или впадают в амбицию, что, говоря с ними в объективном тоне о чем бы то ни было, нельзя достаточно уследить за собой, чтобы не сказать чего-нибудь, имеющего, быть может, оскорбительное значение для дорогого и нежного «я», какое перед нами находится. Ибо одно только это «я» дорого им – больше ничего, и, в то время как их ум и чувство закрыты для того, что есть в чужой речи истинного и меткого или красивого, изысканного, они обнаруживают самую тончайшую чувствительность по отношению ко всему, что может хотя бы лишь самым отдаленным и косвенным путем задеть их мелкое тщеславие либо как-нибудь невыгодно отозваться на их крайне драгоценном «я».

Таким образом, в своей обидчивости они уподобляются маленьким собакам, которым так легко незаметно для себя наступить на лапы, чтобы потом выслушивать их визг; или их можно сравнить также с больным, покрытым ранами и болячками, так что приходится самым осторожным образом избегать всякого возможного к нему прикосновения.

У некоторых же дело доходит до того, что выказанный или, по крайней мере, недостаточно скрытый в разговоре с ними ум и рассудительность действуют на них как личная обида, хотя они ее в этот момент еще утаивают; зато потом, впоследствии, неопытный человек напрасно размышляет и недоумевает над тем, чем это он мог навлечь на себя их злобу и ненависть. Но с другой стороны, им столь же легко польстить и понравиться. Вот почему их мнение большей частью бывает подкуплено и представляет собой просто решение в угоду их партии или класса, а не что-нибудь объективное и справедливое. Все это основано на том, что у них воля имеет огромное преобладание над познанием и их ничтожный интеллект находится всецело на службе у воли, от которой не может освободиться ни на мгновение.

Красноречивым доказательством жалкой субъективности людей, вследствие которой они все относят к себе и от каждой мысли немедленно по прямой линии возвращаются к собственной особе, является астрология, ставящая ход великих мировых тел в соотношение с несчастным «я» и связывающая появление комет на небе с земными раздорами и пустяками.

Что человек имеет **(Из книги «Афоризмы житейской мудрости»)**

Великий учитель счастья Эпикур правильно и стройно подразделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые: они, если не получают себе удовлетворения, причиняют страдание. Сюда относятся, следовательно, лишь пища и одежда. Они легко находят себе удовлетворение. Во-вторых, потребности естественные, но не необходимые – это потребность в удовлетворении полового чувства; Эпикур, впрочем, не высказывает этого в передаче Диогена Лаэртция; (да и вообще я формулирую здесь его учение в несколько систематизированном виде). Удовлетворить эту потребность уже труднее. В-третьих, потребности ни естественные, ни необходимые – это потребности роскоши, пышности, великолепия и блеска; они не имеют границ, их удовлетворение сопряжено с большой трудностью (см.: Диол. Лаэрт[ий], кн. X, гл. 27, § 149, также § 127; Циц[ерон]. «О крайних степенях добра и зла», I, 13).

Затруднительно, если не невозможно, установить пределы наших разумных желаний касательно имущества. Ибо удовлетворенность каждого отдельного человека в этом отношении зависит не от абсолютной, а от чисто относительной величины, именно от соответствия между его притязаниями и его достоянием, – так что это последнее, взятое само по себе, столь же лишено значения, как числитель дроби без ее знаменателя. Человек не испытывает никакого лишения в тех благах, на которые ему никогда и не приходило в голову притязать, – он и без них вполне доволен. Другой же, имеющий во сто раз больше, чувствует себя несчастным, так как у него нет ничего такого, на что направлялось бы его желание. У всякого и на этот счет есть свой собственный горизонт, охватывающий то, что для него достижимо в возможности: настолько же простираются его притязания. Если какой-либо лежащий в этих пределах объект представляется ему в таком виде, что он может надеяться на его достижение, то он чувствует себя счастливым; напротив, он несчастен, когда встреченные трудности отнимают у него эту надежду. То, что вне этого кругозора, не оказывает на него совершенно никакого действия.

Вот почему огромное состояние богатых не является предметом вожелений бедняка, а с другой стороны, богач, если не осуществляются его планы, не находит себе утешения в том многом, что у него уже есть. Богатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее становится жажда. То же и со славой. После утраты богатства либо благосостояния, коль скоро пережиты первые минуты горя, в нашем обычном настроении не заметно бывает большой разницы с прежним; это происходит потому, что, после того как судьба уменьшит фактор нашего имущества, мы сами в одинаковой мере сокращаем фактор своих потребностей. А в этой операции и заключается собственно наше страдание при каком-либо несчастье: коль скоро она закончена, страдание это все более и более стихает, пока наконец не прекратится совершенно: рана зажила. Наоборот, при удаче пружина наших вожелений разворачивается, и они растут: это связано с радостью. Но и она длится не дольше, чем пока вполне завершится эта операция: мы привыкаем к расширенному масштабу потребностей и уже равнодушно относимся к соответственно умноженному достоянию. Это высказано уже в том месте у Гомера, «Од[иссея]», XVIII, 130–137, которое заканчивается так:

«Ибо таково бывает настроение людей, на земле живущих, какое даст им на этот день отец и смертных и богов».

Источник нашего недовольства лежит в наших постоянно возобновляющихся попытках повысить фактор потребностей при неподвижности другого фактора, которая этому препятствует.

Глядя на столь нуждающееся и из нужд составленное существо, как человек, нечего удивляться, что богатство пользуется большим и более открытым, чем все остальное, уважением,

прямо – почетом, и что даже власть ценится лишь как путь к обогащению; нет ничего удивительного и в том, что ради прибыли люди жертвуют или пренебрегают всем остальным, как, например, делают это профессора философии с философией. Людям часто ставится в упрек, что их желания направлены главным образом на деньги, которые они любят больше всего другого. Однако ведь это естественно, даже прямо неизбежно – любить то, что, подобно неутомимому Протею, во всякую минуту готово превратиться в любой предмет наших изменчивых желаний и многообразных потребностей. Ведь всякое другое благо может удовлетворять лишь одно желание, одну потребность: пища хороша только для голодного, вино для здорового, лекарство для больного, шуба для зимы, женщины для юношей и т. д. Все это, следовательно, лишь блага относительные. Одни деньги – абсолютное благо: они отвечают не какой-нибудь одной потребности, а всякой потребности вообще.

* * *

На наличное состояние нужно смотреть как на ограду против многих возможных зол и бед, а не как на дозволение или даже обязательство покупать себе мирские удовольствия. Люди, которые первоначально не располагали никаким состоянием, но которым наконец их таланты, какого бы рода они ни были, дали возможность зарабатывать много, почти всегда начинают воображать, будто их талант есть неприкосновенный капитал, а доставляемый им доход – проценты. Поэтому они и не откладывают ничего из своего дохода, не собирают себе постоянного капитала: они тратят столько же, сколько добывают. Но от этого они по большей части впадают в бедность, ибо их доходы прерываются либо прекращаются – или потому, что самый талант их иссякает, имея преходящий характер, как это, например, бывает почти во всех изящных искусствах, или же потому, что он может проявляться лишь при особых условиях и обстоятельствах, которые перестают существовать.

Ремесленники еще могут поступать таким образом: способность к их работе нелегко утрачивается, да к тому же их могут заменить подмастерья, и изделия их относятся к предметам первой необходимости, так что они всегда найдут себе сбыт, – почему и справедлива поговорка: «у ремесла золотое дно». Но не так обстоит дело со всякого рода художниками и артистами. Вследствие этого они и оплачиваются дороже. Но поэтому же то, что они приобретают, должно бы становиться их капиталом; меж тем они дерзко считают это не более как процентами и оттого идут навстречу гибели. Люди же, получившие состояние по наследству, по крайней мере сразу вполне основательно узнают, что такое капитал и что – проценты. И большинство стараются дать этому капиталу верное помещение, отнюдь его не трогать, даже, если возможно, откладывать хоть восьмую часть процентов, чтобы быть наготове против возможного в будущем застоя, – вот почему они в большинстве случаев и сохраняют свое благосостояние. К купцам, однако, все эти соображения неприменимы: для них самые деньги служат средством к дальнейшей прибыли, как бы орудием ремесла, – поэтому они стараются сохранить и приумножить свое состояние, пустив его в оборот, даже если оно всецело приобретено ими самими. Вот почему ни в одном сословии богатство не представляет собою столь естественного явления, как в этом.



Дом в Гданьске, где в 1788 году родился Артур Шопенгауэр.

Вообще же, как правило, оказывается, что те, кому уже приходилось иметь дело с действительной нуждой и с лишениями, обнаруживают несравненно меньше опасений и потому более склонны к расточительности, чем люди, знакомые с бедностью лишь понаслышке. К одним принадлежат все те, кого счастливый случай или особый талант, все равно какой, довольно быстро привел от бедности к благосостоянию; другие же будут те, кто родился и жил в довольстве. Последние обычно более думают о будущем и потому экономнее первых. Отсюда можно было бы заключить, что нужда не такое плохое дело, как кажется издали. Однако истинная причина указанного различия заключается скорее в том, что человеку, от рождения окруженному богатством, последнее представляется как нечто необходимое, как условие единственно возможной жизни, все равно как воздух; поэтому он хранит его как свою жизнь и оттого большей частью обнаруживает любовь к порядку, предусмотрительность и бережливость. Наоборот, кому от рождения уделом была бедность, тот в ней видит естественное состояние, а в так или иначе доставшемся ему после богатстве – нечто излишнее, годное лишь для наслаждений и мотовства; если оно опять исчезнет, человек, как и прежде, станет обходиться без него, еще освобожденный от лишней заботы. Ведь тут мы и видим то, что говорит Шекспир:

«Должна оправдаться пословица, что, сев верхом, нищий загонит коня насмерть» («Генрих VI», действие 3, сцена 1).

Сюда присоединяется еще, конечно, и то, что подобные люди не столько в уме, сколько в сердце питают прочное и чрезмерное доверие частью к судьбе, частью к собственным силам, которые выручили уже их из нужды и бедности; поэтому они не считают болото лишений, как это сплошь и рядом бывает с рожденными в богатстве, бездонным, а думают, что, толкнувшись о дно, опять подымешься наверх. Этим же человеческим свойством объясняется также, почему женщины, бывшие раньше бедными девушками, очень часто бывают требовательнее и расточительнее, нежели те, за которыми было богатое приданое: богатые девушки в большинстве случаев приносят с собою не только состояние, но также и большее, сравнительно с бедными, старание, прямо унаследованное стремление сохранить его. Кто тем не менее ста-

нет утверждать обратное, тот найдет себе авторитетного союзника в Ариосто, в его первой сатире; мое мнение, напротив, разделяет д-р Джонсон: «Состоятельная женщина, получившая в свои руки деньги, тратит их рассудительно; женщине же, которая после замужества впервые начала распоряжаться деньгами, так нравится их тратить, что она швыряет их без счета» (С. Босвелл. «Жизнь Джонсона»). Во всяком случае, я посоветовал бы тому, кто женится на бедной девушке, не оставлять ей в завещании капитала, а ограничиться одной только рентой, в особенности же позаботиться о том, чтобы в ее руки не попало состояние детей.

Я думаю, что вовсе не поступаю недостойно своего пера, рекомендуя здесь заботиться о сохранении приобретенного и унаследованного состояния. Ибо неоцененное преимущество с самого начала обладает такими средствами, чтобы была возможность, хотя бы только для себя и без семьи, спокойно жить в действительной независимости, т. е. без необходимости работать: ведь это значит быть изъятым и оттого обеспеченным от сопровождающей человеческую жизнь нужды и горя, т. е. освободиться от всеобщей барщины, этого естественного жребия смертных. Только при таком благоволении судьбы человек рожден действительно свободным, только тогда собственно он человек полноправный, хозяин своего времени и своих сил, имея право каждое утро сказать: «День – мой».

По этой-то именно причине между тем, кто пользуется рентой в тысячу талеров, и тем, у кого она равна ста тысячам, разница бесконечно меньше, нежели между первым и тем, у кого ничего нет. Но свою высшую ценность наследственное состояние получает тогда, когда оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка, преследующему задачи, которые не вяжутся с заработком: ибо в таком случае он взыскан судьбою вдвойне и может жить для своего гения; человечество же получит с него долг сторицею, так как он дает то, чего не может дать никто другой, и произведения его служат во благо всем людям вообще и даже приносят им честь. Другие из поставленных в столь привилегированное положение опять-таки заслуживают его перед человечеством своими филантропическими предприятиями. Кто же ничего этого не делает, хотя бы до некоторой степени или в виде попытки, кто даже не работает над основательным изучением какой-либо науки, чтобы по крайней мере приобрести возможность способствовать ее развитию, – такой человек, если он обладает наследственным состоянием, просто-напросто тунеядец и заслуживает презрения. Да он не будет и счастлив: огражденный против нужды, он попадает в руки другому полюсу человеческого горя – скуке, которая так его мучит, что он был бы гораздо счастливее, если бы нужда заставляла его работать. И как раз эта скука легко доводит его до сумасбродств, отнимающих у него преимущество материальной обеспеченности, которого он оказался недостойным. Действительно, множество людей только потому познакомились с лишениями, что, имея прежде деньги, растратили их, чтобы доставить себе хоть минутное облегчение от угнетавшей их скуки.

Совсем иначе обстоит дело, когда имеется в виду достигнуть успеха на государственной службе, где для этой цели приходится хлопотать о благоволении, друзьях, связях, чтобы с их помощью повышаться от ступени на ступень, – быть может, даже вплоть до высших должностей: здесь, в сущности, даже лучше явиться в свет без всяких средств. В особенности для того, кто не дворянского происхождения, но одарен некоторым талантом, непокрытая бедность окажется истинной выгодой и прекрасной рекомендацией. Ибо чего больше всего ищут и любят даже в простой беседе, а тем более, конечно, на службе – это превосходства над другими. Но ведь только бедняк в той мере, как здесь требуется, может быть проникнут убеждением в своем совершенном, глубоком, решительном и всестороннем недостойнстве и своем полном ничтожестве и убожестве. Только он поэтому кланяется достаточно часто и продолжительно, и только его поклоны достигают полных 90°; только он готов все претерпеть с улыбкой; только он признает совершенное ничтожество заслуг; только он публично, громким голосом или даже в большой прессе величает шедеврами литературное кропанье своих начальников или вообще

лиц влиятельных; только он умеет выпрашивать – только он, следовательно, заблаговременно, в юности, может стать даже адептом той сокровенной истины, которую открыл нам Гёте в словах:

«Никто пускай не жалуется на низость:
Она могуча, что бы кто ни говорил»

(«Западно-восточный диван»)

Наоборот, тот, кто с самого начала располагает достатком в доме, по большей части не начнет ломаться: он привык ходить с гордо поднятой головой, не сведущ во всех, перечисленных только что искусствах, а пожалуй, еще величается какими-нибудь талантами, малость которых, в сравнении с вереницей искусств, он, напротив, должен бы понимать; наконец, он, разумеется, в состоянии заметить ничтожество поставленных выше, а в довершение всего, если дело доходит до оскорблений, он артачится и фыркает. С этим не преуспеешь на свете, скорее в конце концов дело может дойти до того, что человек вместе с дерзким Вольтером скажет: «Нашей жизни всего два дня – не стоит проводить их в низкопоклонстве перед презренными негодьями»; к сожалению, мимоходом будь сказано, это «презренные негодья» – такое сказуемое, к которому на свет найдется чертовски много подлежащих. Таким образом, очевидно, ювеналовский стих:

«Нелегко выдвигаются те, достоинствам которых стесненные обстоятельства дома помеха» – приложим более к карьере талантов, чем к поприщу светских людей.

К тому же, что человек имеет, я не причислил жены и детей, так как, вернее, они имеют его. Скорее можно бы присоединить сюда друзей; и здесь, однако, владеющий в равной мере должен быть достоянием другого.

* * *

Предмет этой главы можно подразделить также на честь, ранг и славу. Что касается ранга, то, сколько ни важен он в глазах большой толпы и филистеров и сколь ни велика его польза в механизме государственной машины, мы можем для нашей цели ограничиться здесь немногими словами. Это условное, т. е. собственно вымышленное достоинство: его эффект заключается в поддельном почтении, и в общем это просто комедия для большой толпы. Ордена – это векселя, выданные на общественное мнение: их ценность основана на доверии к тому, кто их дарует. Во всяком случае, даже совершенно независимо от того, что, заменяя собою материальное вознаграждение, они сохраняют государству много денег – это вполне целесообразное учреждение при том условии, что они раздаются осмотрительно и справедливо. Именно у толпы есть глаза и уши и немного сверх того; в особенности же она обладает крайне незначительной силой суждения и даже слабой памятью. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы ее понимания; другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает. Поэтому я нахожу вполне уместным, если крест либо звезда всегда и всюду как бы кричат толпе: «Этот человек не вам чета – у него есть заслуги!» Но при несправедливой, необдуманной или чрезмерно щедрой раздаче ордена теряют эту ценность, и потому государь должен быть столь же осторожен с этой наградой, как купец с подписыванием векселей. Надпись «За заслуги» на кресте – плеоназм: всякий орден должен быть «за заслуги».

Гораздо более трудных и детальных пояснений, нежели ранг, требует честь. Прежде всего, нам надлежит определить ее. Если бы я с этой целью сказал: «Честь – это внешняя совесть, а совесть – внутренняя честь», то подобная формулировка, пожалуй, могла бы кое-кому понравиться, но была бы скорее блестящей, чем ясной и основательной. Поэтому я говорю: честь – это, объективно, мнение других о нашем достоинстве, а субъективно – наш

страх перед этим мнением. В этом последнем отношении она часто оказывает – в человеке чести – очень благотворное, хотя и вовсе не чисто моральное влияние.

Корень и начало присущей каждому не вполне еще испорченному человеку чувствительности по отношению к чести и сраму, а также высокого значения, придаваемого первой, заключается в следующем. Отдельный человек собственными силами может сделать лишь очень немного и предоставлен на произвол судьбы, подобно Робинзону; лишь в сообществе с другими представляет он собою нечто могущественное. Он подмечает этот факт, как только начнет сколько-нибудь развиваться его сознание, и в нем возникает тогда стремление считаться дельным членом человеческого общества, который способен внести свою долю работы в общее дело и потому имеет право участвовать в выгодах человеческого общежития. А этого он достигнет в том случае, если он, во-первых, делает то, чего требуют и ожидают от всех вообще, затем – то, чего требуют и ожидают от этого человека в том особом положении, какое он занимает.

Однако он столь же скоро узнает, что здесь дело не в том, чтобы быть таким в своем собственном мнении, а в том, чтобы быть таким во мнении других. Отсюда и получается его ревнивая забота о благоприятном мнении других и та высокая ценность, какую он этому мнению придает: то и другое обнаруживается с исконностью врожденного чувства, которое называют чувством чести и, в подобающем случае, чувством стыда. Это именно чувство вызывает краску на его щеки, когда он думает, что внезапно должен потерять во мнении других, даже если он не знает за собою никакой вины, даже если открывающийся промах касается лишь относительного, добровольно взятого на себя обязательства. С другой стороны, ничто в такой мере не поднимает его жизненной энергии, как достигнутая либо возобновленная уверенность в благоприятном мнении других людей: ибо она обещает ему защиту и помощь соединенных сил всего человечества, которые служат бесконечно большею гарантией против житейских зол, чем одни его собственные силы.

* * *

Из различных отношений, в которых человек может стоять к другим людям и сообразно с которыми последние должны питать к нему доверие, т. е. иметь о нем известное хорошее мнение, возникает несколько видов чести. Отношения эти главным образом будут: вопрос о моем и твоём, затем исполнение обязанностей, наконец, половой акт – им соответствуют гражданская честь, служебная честь и половая честь, причем для каждой из них опять-таки имеются дальнейшие разновидности.

Всего обширнее сфера гражданской чести: последняя заключается в предположении, что мы безусловно уважаем права каждого человека и потому никогда не воспользуемся для своей выгоды несправедливыми или законом недозволенными средствами. Честь эта служит условием для участия во всяком мирном общении. Она утрачивается через один хотя бы поступок, явно и резко противоречащий такому общению, следовательно и через всякое уголовное наказание, при том, однако, предположении, что оно справедливо. Но, во всяком случае, честь своей последней основой имеет убеждение в неизменности нравственного характера, в силу которой единственный дурной поступок ручается за такой же моральный характер всех последующих, коль скоро будут даны одинаковые условия: это выражает английское слово «характер», употребляемое в смысле славы, репутации, чести. Поэтому-то именно утраченную честь никогда нельзя восстановить, хотя бы утрата эта была обусловлена обманом, например клеветой или ложными основаниями.

Вот почему существуют законы против клеветы, пасквилей и оскорблений, ведь оскорбление, простая брань, есть огульная клевета без указания причин; это хорошо можно передать греческим выражением: «Оскорбление – это клевета в сокращенном виде», – хотя оно нигде и не встречается. Правда, кто ругается, обнаруживает этим, что он не может привести против

данного человека никаких реальных фактов, – в противном случае он дал бы их в качестве посылок, смело предоставив слушателям сделать вывод, вместо того чтобы давать вывод, а послышки оставлять в неизвестности: но он рассчитывает на предположение, что это делается им лишь ради достолюбезной краткости. Хотя «гражданская честь» получила свое название от городского сословия, но она сохраняет свое значение для всех состояний без различия, не исключая даже высших: ни один человек не может обойтись без нее, и она есть дело весьма серьезное, от легкого отношения к которому должен остерегаться каждый. Нарушающий доверие и веру утрачивает их навсегда, что бы он потом ни делал и кто бы он ни был – он непременно отведаст горьких плодов, какие приносит с собою эта утрата.

Честь в известном смысле имеет отрицательный характер, именно как противоположность славе с ее положительным характером. Ибо честь есть мнение не о каких-либо особенных, исключительно данному субъекту принадлежащих свойствах, а лишь о качествах, которые предполагаются как правило и которые не должны отсутствовать и у него. Таким образом, она выражает только, что этот субъект не составляет исключения, тогда как слава отмечает его как таковое. Славу поэтому надо еще сначала приобрести, честь же нужно только не терять. Соответственно тому отсутствие у человека славы, неизвестность, есть понятие отрицательное; отсутствие чести будет уже позор, нечто положительное. Отрицательность эту не должно, однако, смешивать с пассивностью: честь, напротив, отличается вполне активной природой. Именно, она исходит единственно от ее субъекта, основывается на его собственном поведении, а не на том, что делают другие и что с ними случается: она, следовательно, «в наших руках». Это, как мы скоро увидим, служит признаком, отличающим истинную честь от чести рыцарской, или ложной. На честь можно посягнуть извне только путем клеветы; единственная для нее защита – в опровержении этой клеветы, если оно в достаточной мере гласно и клеветник выведен на чистую воду.

Уважение к старости обусловлено, по-видимому, тем, что хотя за молодыми людьми честь и признается как предположение, но она еще не испытана и потому покоится собственно на доверии. У людей же пожилых в течение их жизни должно было выясниться, могут ли они поддержать свою честь своим поведением! Ведь ни годы сами по себе, которых достигают также и животные – некоторые живут даже гораздо дольше, ни опыт, представляющий просто более близкое знакомство с ходом вещей на свете, не дают достаточного основания для того уважения младших по отношению к старшим, какое, однако, является повсеместным требованием; если брать в расчет одну слабость пожилого возраста, то она давала бы право притязать более на пощаду, нежели на уважение. Достоинство, однако, внимания, что у человека есть врожденное и оттого прямо инстинктивное почтение к седым волосам. Морщины, несравненно более верный признак старости, вовсе не возбуждают такого почтения: никогда не говорят о почтенных морщинах, а всегда о почтенных седидах.

Честь обладает лишь косвенной ценностью. Ибо, как уже изложено в начале этой главы, мнение о нас других лишь постольку может быть для нас важно, поскольку оно определяет или может при случае определить их поведение относительно нас. Но это имеет место всегда, пока мы живем с людьми или среди людей. В самом деле: так как в цивилизованном состоянии своею личной и имущественной безопасностью мы обязаны только обществу и при всех своих предприятиях нуждаемся в помощи других, которые, чтобы действовать с нами заодно, должны питать к нам доверие, – то их мнение о нас имеет для нас большое, хотя опять-таки лишь косвенное значение: непосредственной ценности я за ним признать не могу. В согласии с этим и Цицерон говорит («О крайних [степенях добра и зла]», III, 17): «О добром же имени Хризипп и Диоген прямо говорили, что если оставить в стороне пользу, то ради него не стоит даже пальцем шевельнуть. И я от души к ним присоединяюсь». Равным образом детальный разбор этой истины дает в своем шедевре «Об уме» (Рассужд. III, гл. 13) Гельвеций, приходя к выводу: «Мы любим уважение не ради уважения, но единственно ради доставляемых им

выгод». А так как средство не может быть более ценным, нежели цель, то торжественное заявление: «Честь дороже жизни», – как сказано, есть гипербола.

* * *

До сих пор речь шла о гражданской чести. Служебная честь – это общее мнение других, что человек, занимающий известную должность, действительно обладает всеми потребными для нее качествами, а также, что он во всех случаях аккуратно исполняет свои служебные обязанности. Чем важнее и обширнее круг деятельности человека в государстве, иными словами – чем выше и влиятельнее занимаемый им пост, тем выше должно быть и мнение об интеллектуальных способностях и нравственных качествах, делающих его годным для этого поста; тем большею, стало быть, обладает он степенью чести, выражением которой являются его титулы, ордена и т. д., а также подчиняющееся ему поведение других. По этому же самому масштабу общественное положение человека всегда определяет подобающую ему степень чести, хотя она и видоизменяется в зависимости от того, насколько толпа способна судить о важности данного положения. Но, во всяком случае, за тем, кто имеет и выполняет особенные обязанности, признают больше чести, чем за обыкновенным гражданином, честь которого заключается главным образом в отрицательных признаках.

Служебная честь требует, далее, чтобы занимающий какую-либо должность поддерживал ради своих сотоварищей и преемников почтительное отношение к самой этой должности именно путем помянутого пунктуального исполнения своих обязанностей, а также не оставляя без возмездия нападок на самую должность и на себя, как ее носителя, т. е. заявлений, что он неаккуратно ее отправляет или что сама она не служит общему благу, но подтверждая неправильность таких нападков с помощью законных наказаний.

Разновидности служебной чести будут: честь чиновника, врача, адвоката, всякого официального наставника, даже всякого получившего ученую степень, короче – всякого, за кем официально признано право на известное занятие духовного характера и кто именно поэтому взялся за него; словом, сюда относится честь всех несущих общественные обязанности как таковых. Сюда же поэтому принадлежит истинная солдатская честь: она состоит в том, чтобы тот, кто принял на себя долг защищать общее отечество, действительно обладал нужными для этого качествами, т. е. прежде всего мужеством, храбростью и силою, и был серьезно готов с опасностью для жизни защищать свою родину и вообще ни за что на свете не оставлял знамени, которому он раз присягнул. Я беру здесь служебную честь в более широком смысле, чем обычный, где она означает то почтение, с каким подобает гражданам относиться к самой должности.

Половая честь, кажется мне, нуждается в ближайшем рассмотрении и сведении ее основоположений к их корню, причем должно подтвердиться, что всякая честь в конце концов основана на утилитарных соображениях. Половая честь распадается по своей природе на честь женскую и честь мужскую, которые обе представляют собой хорошо понятый «партийный дух». Первая из них несравненно важнее, так как в женской жизни половые отношения играют главную роль.

Итак, женская честь есть общее мнение о девушке, что она не отдавалась ни одному мужчине, а о женщине – что она отдавалась только тому, кто состоит с ней в браке. Важность этого мнения зависит вот от чего. Женский пол требует и ожидает от мужского всего, что ему желательно и нужно; мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно только одного. Поэтому надо было устроиться таким образом, чтобы мужской пол получал от женского это одно в том лишь случае, если он возьмет на себя заботу обо всем и между прочим о рождающихся от союза детях: тогда только может быть обеспечено благополучие всего женского пола. Для достижения этой цели женщины необходимо должны сплотиться и проявить «партийный дух». Но в таком случае они стоят, как одно сомкнутое целое, против всего

мужского пола, обладающего, благодаря природному превосходству телесных и духовных сил, всеми земными благами: это их общий враг, которого надлежит победить и покорить, чтобы, владея им, достигнуть обладания и земными благами. На это и направлен принцип чести для всего женского пола, принцип, по которому мужчинам безусловно должно отказывать во всяком небрачном совокуплении, чтобы каждого из них принудить к браку, являющемуся своего рода капитуляцией, и тем оградить интересы всех женщин вообще. Но эта цель может быть вполне достигнута лишь при строгом соблюдении вышеуказанного принципа, и потому весь женский род с истинным «партийным духом» блюдет, чтобы принцип этот не нарушался ни одним из его сочленов.

Таким образом, всякая девушка, своим небрачным совокуплением совершившая измену перед всем женским полом, благополучию которого пришел бы конец, если бы все стали поступать так, обрекается с его стороны на изгнание и позор: она потеряла свою честь. Ни одна женщина не должна больше вести с нею знакомства – ее избегают как зачумленную. Подобная же участь постигает прелюбодейку, ибо она не сдержала брачной капитуляции, какую принял от нее мужчина, а такой пример должен отпугивать мужчин от заключения этой капитуляции, на которой между тем основано благо всего женского пола. Но сверх того еще прелюбодейка, вследствие заключающегося в ее поступке грубого вероломства и обмана, вместе с половой утрачивает также и гражданскую честь. Вот почему, конечно, с снисхождением говорят «падшая девушка», а не «падшая женщина» и соблазнитель может восстановить честь девушки с помощью брака, чего не бывает при браке с разведенной прелюбодейкой.

* * *

Если теперь, в результате этих ясных соображений, мы признаем основою принципа женской чести благодетельный, даже необходимый, но в то же время хорошо рассчитанный, пользоу руководимый «партийный дух», то мы сочтем эту честь, правда, чрезвычайно важной для женского существования и потому имеющей большое относительное значение, но значение далеко не абсолютное, не господствующее над жизнью и ее целями, так чтобы для него следовало жертвовать самой этой жизнью. Поэтому-то нельзя отнестись с одобрением к ходульным, в трагический фарс впадающим поступкам Лукреции и Виргиния. По той же причине конец «Эмилии Галотти» содержит нечто столь возмутительное, что уходишь из театра совершенно расстроенным. Наоборот, мы, вопреки половой чести, не можем отказать в своей симпатии Клэрхен в «Эгмонте». Такое крайне ревнивое отношение к принципу женской чести принадлежит, как и многое другое, к забвению цели ради средств, ибо в подобном фанатизме половой чести ложно придается абсолютное значение, тогда как значение ее, еще больше, чем у всякой другой чести, чисто относительное. Его можно даже назвать и чисто условным, если на основании сочинения Томазия о конкубинате принять в расчет, что во всех почти странах и во все времена, вплоть до лютеровской реформации, конкубинат был законом дозволенной и признанной связью, при которой конкубина сохраняла свою честь, – я не упоминаю уже о Милитте из Вавилона (Геродот, I, 199) и т. д.

Да и существуют, конечно, такие гражданские отношения, которые делают невозможной внешнюю форму брака, особенно в католических странах, где не допускается развода. Всюду в таком положении находятся правители, которые, по моему мнению, поступают гораздо нравственнее, держа любовницу, нежели вступая в морганатический брак: потомство от последнего, в случае возможного прекращения законных наследников, может со временем предъявить свои притязания на престол, так что такой брак, хотя бы в самом отдаленном будущем, создаст условия для гражданской войны. Сверх того, этот морганатический, т. е. собственно вопреки всем внешним обстоятельствам заключенный брак является в последнем итоге уступ-

кою, сделанной женщинам и попам – двум классам, по отношению к которым надо по возможности остерегаться всяких уступок.

Следует, далее, принять во внимание, что всякий в стране может жениться на женщине по своему выбору, – всякий, кроме одного, у которого отнято это естественное право: этот бедняк – государь. Его рука принадлежит стране, и он отдает ее по государственным соображениям, т. е. согласно с благом страны. А ведь он все-таки человек и тоже хочет следовать влечению своего сердца. Поэтому не только мешанством, но и несправедливостью и неблагодарностью будет желание, чтобы государь не имел любовницы, или порицание его за это – само собою разумеется, пока только исключено ее влияние на управление. Со своей стороны, и такая любовница, по отношению к половой чести, есть до некоторой степени лицо привилегированное, изъятая из общего правила, ибо она отдалась одному только человеку, с которым ее связывает взаимная любовь, но за которого она никогда не может выйти замуж. Во всяком же случае, доказательством тому, что принцип женской чести не есть что-либо прямо данное природой, служат те многочисленные кровавые жертвы, которые ради него приносятся, – детоубийства и самоубийства матерей. Конечно, девушка, отдающаяся без санкции закона, нарушает этим верность всему своему полу; однако верность эта лишь молчаливо подразумевается, а не подтверждается клятвой. И так как обыкновенно при этом прежде всего страдает ее собственный интерес, то она обнаруживает здесь несравненно больше глупости, чем порочности.

Половая честь мужчин обусловлена половой честью женщин, как противопологающийся ей «партийный дух», который требует, чтобы каждый, согласившийся на столь выгодную для противной стороны капитуляцию – брак, заботился по крайней мере о соблюдении ею этой капитуляции; иначе самый этот договор, подрываемый недружным его соблюдением, утратит свою прочность, и мужчины, жертвуя всем, не будут обеспечены даже в том одном, что они покупают такую ценою, именно – в единоличном обладании женщиной. Поэтому честь мужчины повелевает, чтобы он карал прелюбодеяние своей жены, наказывая ее по крайней мере разрывом с нею. Если же он заведомо позволяет изменять себе, общество мужчин вменяет ему это в позор; однако последний далеко не отличается такой безусловностью, как тот, который постигает при утрате половой чести женщину, – напротив, это есть лишь «пятно меньшего бесчестья»: ибо у мужчины половая жизнь играет второстепенную роль – у него есть еще много других и более важных занятий. Эта мужская честь послужила темой для двух великих драматургов нового времени, двукратно у каждого; для Шекспира в «Отелло» и в «Зимней сказке» и для Кальдерона в его «Враче своей чести» и в опусе «За тайный позор тайная месть». Во всяком случае, честь эта требует наказания лишь жены, а не ее любовника, по отношению к которому она является уже просто как нечто добавочное, чем подтверждается наш взгляд на происхождение этой чести из «партийного духа» мужчин.

* * *

Честь, как она рассмотрена мною выше в ее разновидностях и основоположениях, встречается в качестве общего правила у всех народов и во все времена, хотя для женской чести и можно указать кое-какие местные и временные видоизменения ее принципов. Между тем существует еще один вид чести, совершенно отличный от этого всеобщего и всюду признанного, – вид, о котором не имели никакого понятия ни греки, ни римляне, а также до сих пор ничего не знают китайцы, индусы и магометане. Эта особая честь возникла в средние века и привилась исключительно в христианской Европе, да и здесь лишь среди крайне незначительной части населения, а именно в высших классах общества и у тех, кто старается не отставать от них. Это рыцарская честь, или «дело чести». Так как ее основные правила стоят совершенно особняком от правил чести, которою мы занимались выше, отчасти даже им противоречат, так

что в одном случае получается человек чести, а в другом – честный человек, то я приведу здесь ее принципы в отдельном изложении, как бы в виде кодекса, или зеркала, рыцарской чести.

Честь состоит не во мнении других о нашем достоинстве, а исключительно только в выражениях такого мнения, все равно, высказывает ли выраженное мнение то, что действительно о нас думают, или нет, не говоря уже об его основательности. Поэтому другие могут, благодаря нашему образу жизни, иметь о нас сколь угодно дурное мнение, сколь угодно нас презирать: пока не найдется человека, который осмелился бы громко это высказать, это совсем не вредит нашей чести. И наоборот, пусть даже мы своими качествами и поступками заставим всех других относиться к нам с очень большим уважением (ведь это не зависит от их произвола): если тем не менее кто-нибудь один, будь он первым негодяем и дураком, посмеет высказаться о нас с пренебрежением, наша честь немедленно будет оскорблена, даже навсегда утрачена – надо будет ее вновь восстанавливать. Доказательством, хотя и излишним, тому, что здесь замешано вовсе не мнение других, а просто только выражение такого мнения, служит тот факт, что оскорбления могут быть взяты назад, в случае нужды – с помощью извинений, после чего дело обстоит так, как если бы их никогда и не было. Изменилось ли также и самое мнение, давшее им начало, и почему должна была случиться такая перемена, это не играет никакой роли: только выражение сводится на нет, и тогда все обстоит благополучно. Здесь, следовательно, цель не в том, чтобы заслужить почтение, а в том, чтобы его вынудить.

Честь человека основана не на том, что он делает, а на том, что он претерпевает, что с ним случается. Если по принципам разобранной выше общепризнанной чести, эта последняя зависит исключительно от того, что человек сам говорит либо делает, то рыцарская честь, напротив, зависит от того, что говорит или делает кто-либо другой. Таким образом, она находится в руках, даже висит на кончике языка у всякого встречного и в любой момент может быть по его желанию утрачена навеки, если только обиженный не вернет ее себе помощью восстановительного процесса, о котором мы скоро будем говорить, что, однако, сопряжено с опасностью для его жизни, его здоровья, его свободы, его собственности и его душевного спокойствия. Вследствие этого поведение человека может быть самым честным и благородным, его намерения – самыми чистыми, а его ум – самым выдающимся: все-таки его честь каждую минуту подвергается риску быть утраченной, коль скоро кому-нибудь заблагорассудится обручать его, – нужно только, чтобы сам обидчик не нарушал еще этих законов чести, а в прочем он может быть негоднейшим бездельником, тупейшим олухом, тунеядцем, игроком, вечным должником, короче – человеком, который недостойн взгляда со стороны того, кого он оскорбляет. Да в этой роли по большей части именно и выступает субъект такого рода: ибо, как справедливо заметил Сенека, «чем кто больше заслуживает презрения и насмешки, тем наглее его язык» («О благоразумии», 11). К тому же такой человек и раздражается всего легче именно против людей достойных, ибо противоположности ненавидят одна другую, и зрелище высоких преимуществ обычно возбуждает в негодяе скрытую ярость; поэтому Гёте и говорит:

«Что ты жалуешься на врагов? Разве могли бы стать когда-нибудь твоими друзьями люди, для которых существо, подобное тебе, втайне служит вечным укором?» («Западно-восточный диван»).

Очевидно, что именно категория людей недостойных должна питать особенную благодарность к этому принципу чести, ведь он ставит их на одну доску с теми, которые во всех других отношениях стоят на недостижимой для них высоте. И вот, если подобного рода субъект произнес ругательство, т. е. приписал другому какое-либо дурное качество, оно считается пока объективно верным и обоснованным суждением, закономерным определением и даже на все предбудущее время сохранит свою истинность и силу, коль скоро не будет тотчас же заглажено кровью, иными словами – оскорбленный остается (в глазах всех «людей чести») тем, чем его назвал оскорбитель (будь он последним из всех смертных), ибо он (так гласит технический термин) «оставил на себе» это оскорбление. Поэтому «люди чести» будут теперь относиться к

нему с полным презрением, бегать от него как от зачумленного, например громко и публично отказываться от посещения того общества, где он принят, и т. д. Начало этого мудрого принципа можно, мне кажется, с уверенностью отнести к тому, что в средние века, до XV столетия, при уголовных процессах не обвинитель должен был доказывать вину обвиняемого, а этот последний – свою невиновность (см.: К. д. фон Вехтер. «Очерки по немецкой истории, особенно [по истории] немецкого права», 1845).

Он мог прибегать для этого к очистительной присяге, для которой, однако, ему нужно было иметь еще поддерживателей присяги, которые клятвой подтверждали свое убеждение, что он неспособен на клятвопреступление. Если у него не было таких лиц или обвинитель отклонял их, то выступал на сцену Суд Божий, который обыкновенно состоял в поединке. Ибо обвиняемый был тогда «обесчещен» и должен был себя очистить. Мы видим здесь происхождение понятия о бесчестье и всего того положения вещей, какое еще теперь можно наблюдать у «людей чести», только с опущением присяги. Здесь именно лежит и объяснение того обязательного, глубокого негодования, с каким «люди чести» принимают упрек во лжи, требуя за него кровавой мести, что при повседневной лжи представляется весьма странным, а в Англии прямо превратилось в какое-то глубоко коренящееся суеверие. (Ведь на самом деле всякий, кто за упрек во лжи грозит покарать смертью, должен бы быть человеком, никогда не лгавшим в своей жизни.)

Недаром в упомянутых уголовных процессах средневековья существовала более короткая форма, когда обвиняемый возражал обвинителю: «Это ты лжешь», – вслед за чем решение немедленно возлагалось на Суд Божий; отсюда и значит, что, по кодексу рыцарской чести, за упреком во лжи тотчас должно следовать обращение к оружию. Это все мы говорили о брани. Но есть еще нечто худшее, чем ругань, – вещь столь ужасная, что я должен просить у «людей чести» прощения уже за простое упоминание о ней в этом кодексе рыцарской чести, ибо, как мне известно, у них при одной мысли о ней мороз подирает по коже и волосы становятся дыбом; это высшее зло на свете, горше смерти вечных мук. Именно, может случиться – страшно сказать, – что один человек даст другому затрещину, нанесет ему удар. Это ужасное событие влечет за собою такую полную потерю чести, что если уже для устранения всех других ее оскорблений требуется кровопускание, то здесь для ее окончательного восстановления нужен решительный смертельный удар.

* * *

Насколько быть обруганным – позор, настолько обругать – честь. Пусть, например, на стороне моего противника будут истина, право и разум: я произношу ругательство – и все это должно испариться, право и честь перейдет ко мне, он же на время утратит свою честь, пока не восстановит ее, но опять-таки не с помощью права и разума, а огнестрельным или холодным оружием. Таким образом, грубость есть свойство, которое в вопросе о чести заменяет или устраняет всякое другое: кто всех грубее, тот всегда прав – кого же наказывать?

Какую бы глупость, бестактность, пакость, человек ни совершил – благодаря грубости она перестает существовать как такая и немедленно получает права гражданства. Положим, в каком-нибудь споре или в обыкновенном разговоре другой обнаруживает более верное понимание дела, более сильную любовь к истине, более здравое суждение, больше рассудка, чем мы, или вообще проявляет духовные преимущества, оставляющие нас в тени: у нас есть средство тотчас положить конец всякому такого рода превосходству и разоблаченному им нашему собственному убожеству и в свой черед самим приобрести верх – достаточно вести себя оскорбительно и грубо. Ибо грубость побеждает всякий аргумент и затмевает всякий ум, если только поэтому противник не схватится с нами и не ответит нам еще большей грубостью вовлекая нас этим в благородное состязание аванжа, то мы останемся победителями и честь окажется на

нашей стороне, – истина, знание, рассудок, ум, остроумие должны убраться прочь, сбитые с позиции божественной грубостью.

Вот почему «люди чести», коль скоро кто-нибудь выскажет мнение, несогласное с их собственным или хотя бы только обнаружит больше ума, чем могут выставить они сами, тотчас являют готовность сесть на этого боевого коня. И если при случае в каком-нибудь споре им недостает опровергающего довода, они обращаются к грубости, которая ведь сослужит ту же службу и которую легче найти; и вот они выходят тогда победителями. Уже отсюда видно, насколько справедливо приписывать этому принципу чести облагораживающее влияние на царский в обществе тон.

Высший правовой трибунал, к которому при всех ссорах можно апеллировать от всякого другого, поскольку дело касается чести, – это трибунал физической силы, т. е. животного начала. Ибо всякая грубость есть собственно обращение к животной природе, так как она, объявляя не имеющей значения борьбу духовных сил или морального права, ставит на ее место борьбу сил физических: эта последняя у вида «человек», определяемого Франклином как «животное, изготавливающее орудия труда», ведется имеющимся у него, благодаря этому свойству, оружием на дуэли и приводит к непререкаемому решению. Это основное правило, как известно, формулируется короче выражением «кулачное право», аналогичным слову «остроумничанье» и оттого имеющим, подобно этому последнему, ироническое значение: соответственно этому рыцарскую честь надлежало бы называть кулачною честью.

Если выше мы нашли гражданскую честь очень щепетильной в вопросе о моем и твоём, о принятых на себя обязательствах и о данном слове, то рассматриваемый здесь кодекс, напротив, отличается в этом отношении благороднейшею либеральностью. Именно, только одно слово не должно быть нарушаемо – честное, т. е. слово, при котором было сказано «клянусь честью!» – откуда получается презумпция, что всякое другое слово можно нарушить. Но и при нарушении этого честного слова можно еще все-таки спасти свою честь, прибегнув к универсальному средству – дуэли, именно с тем, кто утверждает, что мы дали честное слово. Далее, существует только один долг, безусловно требующий уплаты, – долг карточный, который поэтому и носит название «долга чести». Что касается всех остальных долгов, то можно смело надувать и иудеев, и христиан: это не наносит рыцарской чести решительно никакого ущерба.

Беспристрастный человек сразу увидит, что этот странный, варварский и смешной кодекс чести берет свое начало не в сущности человеческой природы и не в здравом понимании человеческих отношений. Это подтверждается к тому же крайне ограниченной сферой его действия: именно, он применяется исключительно в Европе, притом лишь со времени средних веков, да и здесь только у дворян, военных и их подражателей. Ибо ни грекам, ни римлянам, ни высококультурным азиатским народам древнего и нового времени совсем не известно об этой чести и ее принципах. Все они не знают никакой иной чести, кроме разобранной нами в начале. У всех у них поэтому человек считается за то, что обнаруживает в нем все его поведение, а не за то, что заблагорассудится сказать о нем какому-нибудь развязному языку. У всех у них слова и поступки человека могут, конечно, уничтожить его собственную честь, но никак – честь другого. Все они видят в ударе именно только удар, какой с большей опасностью можно получить от всякой лошади и всякого осла: он вызывает, смотря по обстоятельствам, гнев, быть может даже немедленную месть, но к чести он не имеет никакого отношения, и отнюдь не ведется запись ударов и ругательств вместе с «сатисфакцией», которая за них получена или для которой упущено время. В храбрости и презрении к жизни народы эти не уступают христианской Европе. Ведь греки и римляне были настоящими героями, а они не ведали никакого «вопроса чести». Поединки практиковались у них не среди благородных классов населения, а между наемными гладиаторами, обреченными на смерть рабами и осужденными преступниками, которые натравлялись друг на друга вперемежку с дикими зверями для потехи народа. С

введением христианства гладиаторские игры прекратились, но их место в христианскую эпоху заняла через посредство Суда Божьего дуэль. Если игры эти были бесчеловечною жертвой, приносимой общей страсти к зрелищам, то дуэль – бесчеловечная жертва, приносимая общему предрассудку, но только объектами этой жертвы служат не преступники, рабы и пленные, как там, а свободные и благородные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.